

## Лабиринт социальной теории

А. Мотыль — известный специалист по проблемам политической теории, революции, национальных отношений в республиках бывшего СССР, автор нескольких монографий и многочисленных статей. В настоящее время А. Мотыль — директор Украинского центра Гарримановского института (Колумбийский университет, Нью-Йорк). Ниже предлагается сокращенный перевод одной из глав монографии А. Мотыля<sup>1</sup>. В главе содержится критический обзор актуальных методологических проблем социального знания в целом и политической теории в частности.

Справочный аппарат дан в соответствии с текстом автора.

Если бы поиск теории был похож на восхождение к источнику света в знаменитой платоновской пещере, все политологи уже давно превратились бы в теоретиков. Увы, найти короля среди философов, наверное, невозможно, и не потому, что нет кандидатов на эту роль, а потому, что их слишком много и все они ее достойны. Кроме того, заинтересованные в теории политологи обращаются к своим коллегам-философам за ответом и обнаруживают, что среди последних также царят разногласия. И если овладеть теоретическими понятиями не удастся даже тем, кто законно должен претендовать на лучшее их понимание, на что же могут рассчитывать далекие от теоретических высот политологи? Поэтому очень многие из них теряют надежду на успех, оставляют попытки обосновать основные теоретические понятия и принципы и погружаются в конкретные исследования. Можно, однако, сделать в подобной ситуации иной вывод. Если множество философских позиций неизбежно сопровождает развитие социальных наук, это позволяет нам самим более активно искать собственные ответы на те глубинные теоретические вопросы, решения которых нам не дают философы. Подобная позиция была бы, вероятно, с пониманием воспринята И. Кантом.

С чего же следует начать теоретическое просвещение? Рассмотрим три дефиниции понятия «теория»<sup>2</sup>. Дж. Сартори определяет ее как «совокупность взаимосвязанных общих утверждений, имеющих объясняющую силу»<sup>3</sup>. Дж. К. Хоманс говорит, что «теория состоит из группы дедуктивных систем»<sup>4</sup>. Дефиниция Дж. Гальтунга наиболее формальна: «Теория  $T$  является структурой  $(Y, I)$ , где  $H$  — множество гипотез, а  $I$  — отношение, определенное на множестве  $Y$ , называемое «импликацией» или «дедукцией», такое, что  $Y$  является слабо связанным с

<sup>1</sup> Motyl A. I. *Sovietology, Rationality, Nationality. Coming to Grips with Nationalism in the USSR*. New York, 1990.

<sup>2</sup> В этой главе я говорю только о теориях социальных наук. Я обращаю к работам философов науки, когда их суждения о методологии естественных наук приложимы к теориям социальных наук, и не претендую на то, чтобы привлечь внимание специалистов в естественных науках.

<sup>3</sup> Sartori G. *Guidelines for Concept Analysis in Social Science Concepts*, p. 84.

<sup>4</sup> Homans G. *Contemporary Theory in Sociology*, p. 53.

помощью /»<sup>5</sup>. Терминология различна, но все три определения исходят из понимания теорий как множества логически взаимосвязанных высказываний, цель которых — объяснение чего-либо. Теории наиболее общие, среднего уровня и самые конкретные различаются не степенью логической когерентности или структурой объяснения, а степенью общности получаемых в их рамках объяснений. Так, например, хотя теории массовых движений обладают большей степенью общности по сравнению с теориями конкретных видов массовых движений, которые, в свою очередь, являются более общими, чем теории отдельных массовых движений, все они представляют собой теории.

Какова же структура теорий и как они объясняют то, на объяснение чего претендуют? С. Гаукрогер указывает на четыре взаимосвязанные в равной степени существенные части, на которые можно расчленировать теорию. Структуры объяснения, по Гаукрогеру, состоят из: онтологии, «тех первичных сущностей, в рамках которых могут даваться объяснения в данном дискурсе», или того, что ученые называют «аксиомами», «принципами» или «допущениями»; «области подтверждения», которая есть «множество явлений, способных подтвердить или опровергнуть искомые объяснения»; системы понятий, связывающих «онтологию дискурса с ее областью подтверждения» и «являющихся специфичными для данного дискурса»; «структуры доказательства, которая ограничивает класс правильных и неправильных высказываний в данном дискурсе»<sup>6</sup>.

Онтологиями являются интуитивно принимаемые посылки, формирующие то, что И. Лакатос называет «твердым ядром» теории<sup>7</sup>. Их нельзя доказать; они не истинны или ложны, правильны или неправильны: они просто принимаются аксиоматически. Постулат о параллельных в евклидовой геометрии является типичным примером такого недоказуемого утверждения. Аналогичным утверждением в политической науке могло бы быть то, что люди вообще эгоистичны, альтруистичны, рациональны, иррациональны и т. п. Конечно, утверждения, составляющие онтологию, не должны представлять собой произвольную мешанину. Напротив, по К. Попперу, «система аксиом должна быть свободной от противоречий... аксиомы должны быть независимыми, т. е. любая из них не должна быть выводима из остальных», а также «необходимыми и достаточными для дедукции всех утверждений аксиоматизируемой теории»<sup>8</sup>.

Вторая и третья части теорий состоят из понятий и области подтверждения, в рамках которой, как мы рассчитываем, теория будет работать. Сартори определяет понятие как «основную единицу мышления. Можно сказать, что имеется понятие Л (или свойство Л), когда мы способны отличить А от всякого не-А»<sup>9</sup>. У. Карлснэс согласен с этим: понятия «это не языковые конструкции или классификации, а абстрактные сущности, обозначаемые или символизированные терминами или языковыми выражениями». Понятие выделяет «абстрактное свойство, присущее одним объектам и отсутствующее у других»<sup>10</sup>.

Из обоих определений следует, что плохо определенные понятия оборачиваются нестрогостью мышления. Недостаточная точность дефиниций препятствует установлению связи понятий с онтологическими основаниями теории. Не менее важна также и взаимосвязь области эмпирического подтверждения с теоретическими понятиями. Концептуальная структура теории определяет те факты, которые в рамках данной теории рассматриваются как релевантные, и элиминирует другие, рассматривая их как нефакты. Теория просеивает и отбирает факты, рассматриваемые ею в качестве значимых, и процесс этот определяется ее понятийной основой. Утверждение Гаукрогера о том, что физическое явление выступает в качестве такового, если и только если оно служит референ-

<sup>5</sup> C a l t u n g J. Theory and Methods of Social Research, p. 451.

<sup>6</sup> G a u k r o g e r S. Explanatory Structures, pp. 39, 14, 68, 15.

<sup>7</sup> L a k a t o s I. Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. In: Criticism and the Growth of Knowledge.

<sup>8</sup> P o p p e r K. R. The Logic of Scientific Discovery, pp. 71—72.

<sup>10</sup> S a r t o r i G., p. 74.  
C a r l s n a e s W. The Concept of Ideology and Political Analysis, p. 5.

том понятия, уточняющего, что такое «физические явления»<sup>11</sup>, очень точно указывает на тесную взаимосвязь понятий и эмпирической данности.

Наконец, структура доказательств и обоснований объединяет элементы теории в когерентное и осмысленное целое, сообщая ему внутреннюю согласованность и определяя, по словам Гаукрогера, «какие формы вывода приемлемы и при каких условиях». Такая структура «накладывает ограничения на формальные взаимосвязи понятий в дискурсе и, следовательно, на утверждения, получаемые в рамках этого дискурса»<sup>12</sup>. Наиболее важно для нас, что структуры доказательств и обоснований уточняют «начальные условия» —  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , — которые должны быть заданы в теории, чтобы теория — если  $A \dots$  то  $B$  — могла быть верифицирована<sup>13</sup>. Без указания этих условий теория не сможет быть надежно привязана к той эмпирической области, для объяснения которой она создавалась.

При рассмотрении указанных выше четырех элементов сразу обращает на себя внимание то, что они связаны друг с другом не случайным образом. Наоборот, если теория умело построена, ее элементы будут очень органично сочетаться и взаимодействовать, поскольку они тщательно подбирались, уточнялись и подгонялись друг к другу. Но если даже красивые теории строятся произвольно и объясняют только то, что хочется их авторам, невозможно гарантировать, действительно ли ученые достигают реальной цели или их объяснения по существу фиктивны, и они как бы рисуют круги мишени вокруг своих случайных попаданий. По мнению Гальтунга (вопреки попперовскому критерию фальсифицируемости), чем лучше теория, тем труднее ее опровергнуть<sup>14</sup>. Т. Спрагенс доводит этот тезис до логического конца, говоря о «неустранимом логическом круге в человеческом мышлении — круге, уменьшить влияние которого можно лишь ограничивая исследование самыми конкретными вопросами и отрицая зависимость этих вопросов от неустранимых исходных посылок...». Действительно, Спрагенс считает, что «поскольку эпистемология внутренне рефлексивна — т. е. она есть мышление о себе самом, вплоть до бесконечного регресса,— она может в конечном итоге основываться только на самопризнаваемом логическом круге, что будет «парадоксальным», или на утверждении о собственной достоверности, которое будет догматичным. Других альтернатив нет». Хотя Спрагенс предлагает, чтобы «выбор между двумя этими фундаментальными парадигмами основывался на личном предпочтении», он предпочитает «первую парадигму самопризнаваемого парадокса... потому что она включает признание собственной условности. По мнению Р. Мертон, этот способ оправдания знания похож на попытки барона Мюнхгаузена вытащить себя за волосы из болота. Но альтернативу следует сравнивать тогда с выбором в качестве точки опоры облака, чтобы, стоя на нем, смеяться над усилиями Мюнхгаузена»<sup>5</sup>.

Признание справедливости тезиса Спрагенса о логическом круге или того, что У. Куайн называет «хололизмом»<sup>16</sup>, влечет признание нескольких важных эпистемологических следствий. Во-первых, истинность и смысл теоретических утверждений возможны лишь в контексте некоторой теории. Поскольку мы не способны воспринимать мир иначе как через посредство определенных мыслительных про-цедур, истина и смысл являются имманентными характеристиками теоретического познания и сами по себе не могут рассматриваться как онтологически реальные<sup>17</sup>. Во-вторых, поскольку значение конкретных понятий определяется теоретической структурой, органической составной частью которой они являются, понятия никогда не имеют одного божественно предопределенного смысла. Куайн и его последователь П. А. Рот даже утверждают, что не существует «объективной основы, позволяющей однозначно решать вопрос о точном смысле

<sup>11</sup> G a u k r o g e r S., p. 244.

<sup>12</sup> Ibid., pp. 77, 74.

<sup>13</sup> N a g e l E. The Structure of Science, p. 31.

<sup>14</sup> G a l t u n g J., p. 334.

<sup>15</sup> S p r a g e n s T. A. Jr. The Dilemma of Contemporary Political Theory, p. 155.

<sup>16</sup> Q u i n e W. V. Theories and Things, p. 71—72.

<sup>17</sup> R o t h P. A. Meaning and Method in the Social Sciences, p. 19.

конкретного высказывания»<sup>18</sup>. Поскольку перевод всегда содержит неоднозначность, мы никогда не можем быть уверены в адекватном понимании смысла высказывания. В-третьих, несмотря на нашу уверенность в объективности внешнего мира, нет достаточных философских оснований для утверждения, что наблюдаемое нами и есть существующее. Следовательно, факты, которые мы интерпретируем как эмпирическое подтверждение или опровержение теории, являются таковыми и могут выполнять свою функцию только потому, что они признаются данной теорией.

Чтобы сказанное выше не воспринималось как констатация или апология методологической анархии, важно помнить, что данные, входящие потенциально в эмпирически значимое множество фактов, приобретают статус фактуальности не по индивидуальной прихоти, а на основе интересубъективного консенсуса, формирующегося путем далеко не полностью понятого взаимодействия между признаваемыми научным сообществом теоретическими конструкциями и объективным миром<sup>19</sup>. И в-четвертых, поскольку факты весьма сложным образом привязаны и взаимодействуют с теоретическими схемами, включая их неявные основания, граница «факт—ценность» неизбежно становится достаточно размытой, и как следствие нормативные высказывания автоматически превращаются в составную часть теоретизирования в социальных науках<sup>20</sup>.

Если мы согласны с перечисленными выше пунктами — а я подчеркиваю, что не существует логической необходимости, обязывающей нас их принять,— то можно получить дополнительные методологические следствия. Наименее спорное из этих следствий касается проблемы соотношения объяснения и интерпретации. Приверженцы объяснительного подхода, часто оцениваемого как эмпирицистский, позитивистский, сциентистский, утверждают, что социальные науки должны пользоваться методами естественных наук. Сторонники интерпретационного подхода отрицают, что естественные науки являются в методологическом плане образцом для социальных наук. Объяснительный подход при изучении конкретных событий ориентирован на то, чтобы выделить ограниченное число относительно легко регистрируемых параметров, нередко отвлекаясь от многих исторических и географических условий, сложным образом воздействующих на них, или от эволюции этих параметров. В рамках интерпретационного подхода, напротив, фокусируется внимание на конкретных событиях, и исследователь стремится понять поведение участников социальных процессов, максимально учитывая многочисленные факторы, определяющие жизнь данного общества. Гальтунг лишь мимоходом отмечает различие между двумя этими идеальными типами, утверждая, что объяснение имеет дело с пространственным, а интерпретация с временным подходами<sup>21</sup>.

Хололизм разрушает четкую границу между двумя этими подходами. Сближая субъективные ощущения и объективные факты, он подрывает претензии позитивизма на статус строгой науки, равно как и надежды сторонников интерпретационного подхода достичь подлинного *Verstehen* (понимания) теоретических систем, принадлежащих к разным культурам и созданных на конкретных национальных языках. В этом смысле попытка Дж. Снайдера примирить оба эти подхода, хотя и заслуживает восхищения, весьма уязвима для критики, поскольку опирается на допущение, что они существенно различны<sup>22</sup>. Гораздо ближе к Куайну, Роту и Спрагенсу Д. Чалмерс, доказывающий, что объяснение и интерпретация не просто взаимодополнительны, но являются двумя сторонами одной медали: «Теория в социальных науках не является только формальной моделью по аналогии с естественными науками или же процедурой понимания и интерпретации. Социальные науки представляют собой арену взаимодействия и сближения

<sup>18</sup> Ibid., pp. 4-8.

<sup>19</sup> Ibid., pp. 44-72

<sup>20</sup> См., например, Chilcote R.H. Theories of Comparative Politics.

<sup>21</sup> Galtung J., pp. 23-25

<sup>22</sup> Snyder J. Richness, Rigor and Relevance in the study of Soviet Foreign Policy.

объяснения и интерпретаций»<sup>23</sup>. Такие «интерпретирующие схемы» сочетают элементы естественных наук с интерпретирующими историческими методами и ценностными подходами таким образом, что волей-неволей примиряют позиции сторонников объяснения и тех, кто предпочитает интерпретацию.

Больше беспокойства вызывает другое следствие логического круга и холизма — то, что, как отмечает Чалмерс, политическая наука и политика, подобно фактам и ценностям, неизбежно частично пересекаются (перекрывают друг друга)<sup>24</sup>. В определенной степени проблемы и программы политической науки являются политическими проблемами и программами, и было бы наивно отрицать это. Естественно, как подчеркивает Спрагенс, политическая наука и политика не идентичны: «Прежнее различие мысли и действия иногда может стираться, но верным остается то, что приверженность теоретической парадигме в поисках истины — это не то же самое, что приверженность некоторой политической программе, ориентированной на конкретные политические цели». Хотя «политическая наука, очевидно, имеет отношение к политическому действию», и «люди действуют на основе своей веры в ту или иную структуру окружающего мира», важно иметь в виду, что «ни одно конкретное политическое действие не может требовать легитимации со стороны политической науки, во-первых, из-за неустранимого элемента условности в научном знании, а во-вторых, ввиду принципиального различия между суждением факта и суждением дол-женствования, даже когда признается нормативный компонент истины»<sup>24</sup>. Не имея возможности избежать парадокса Мангейма, мы можем стремиться построить наши теории (хотя они и являются неизбежно идеологическими в том смысле, как он понимался Мангеймом) таким образом, чтобы все же существовало различие между теоретическими конструкциями, вдохновленными реалиями политики, и политическими программами.

Далее — и это, пожалуй, самое печальное — теоретический холизм и конвенциональный аспект теоретических понятий вынуждают нас признать, что теоретический плюрализм, или «теоретический анархизм», используя термин П. Фейерабенда, неизбежен в социальных науках<sup>26</sup>. Иначе говоря, множественность конкурирующих теорий реальности — норма, а не какая-то аномалия, вызванная уловками обществоведов. Не существует единственной истинной теории, и думать иначе означало бы впасть в то, что Чалмерс называет «тоталитарным мышлением»<sup>27</sup>. Однако, согласившись с этим утверждением, мы вынуждены будем признать, что нет внутренних теоретических оснований для принятия или непринятия, разработки или отказа от разработки именно этой, а не другой теоретической схемы. Выбор остается за нами, и для того, чтобы сделать его, по всей видимости, требуется сделать шаг, основанный на вере, или, иначе говоря, выбор теорий, интерпретирующих схем, теоретических дискурсов и т. п. зависит от нас: от наших ценностных ориентаций, политических убеждений, исследовательских интересов и институциональных предпочтений.

Теоретический плюрализм, или теоретический анархизм, что в данном случае одно и то же, конечно, отнюдь не тождествен анархии и тотальному релятивизму. Существуют очень серьезные критерии, позволяющие отличить лучшие теории от худших, так что далеко не каждая теоретическая схема, которую можно вообразить, заслуживает внимания специалистов. Первый, наиболее очевидный и, возможно, наиболее важный критерий, о котором я уже говорил выше, — это внутренняя согласованность различных частей теории. Мы можем анализировать основные понятия и аксиомы с точки зрения их непротиворечивости, ясности и экономности (неизбыточности). Можно также обсуждать вопрос, в достаточной ли степени согласованы онтологии, теоретические понятия и области эмпирической верификации, как это должно быть в случае хорошо построенных теорий. Конеч-

<sup>23</sup> Chalmers D. A. *Interpretive Frameworks: A Structure of Theory in Political Science*, pp. 29, 31.

(Неопубликованная рукопись).

<sup>24</sup> *Ibid.*, p. 56.

<sup>25</sup> Spragens T. A., pp. 165—166.

<sup>26</sup> M. Feysabend P. *Against Method*.

<sup>27</sup> Chalmers D. A., p. 45.

но, хотя подобные тесты помогут отделить зерна от плевел, они не дадут возможности сделать выбор между несколькими хорошими теориями. Второй критерий для оценки теорий — это их способность действительно объяснять то, на объяснение чего они претендуют. Представляется бесспорным, что теории, выдержавшие проверку, следует оставить, а те, которые ее не выдерживают, — отбросить. Но как осуществлять процедуру фальсификации (верификации) теорий? Многие специалисты полагают, что они прямо соотносят теории с объективными фактами, но эта точка зрения должна быть отвергнута, поскольку она противоречит изложенному выше пониманию природы факта<sup>28</sup>. Значительно более серьезна аргументация Э. Нагеля и К. Поппера, считающих, что «базовые суждения» или «экспериментальные законы», описывающие реальность, выводятся из других, общепринятых, теорий, и, представляя собой конвенции, могут использоваться в качестве единиц измерения<sup>29</sup>. Можно долго обсуждать эту позицию, но, как резюмирует даже склонный к индуктивизму Гальтунг, «трудно фальсифицировать теорию, даже если это может показаться простым делом в соответствии с правилом *modus tollens*», что является сутью схемы Нагеля-Поппера<sup>30</sup>. Тесная взаимосвязь между онтологией, теоретическими понятиями, областью эмпирической верификации и структурой доказательства всегда позволит спасти теорию, построенную на основе попперовских рецептов, двигаясь вверх или вниз (к уровню эмпирии) по ее зданию, внося уточнения, исправления и согласования на некоторых или всех ее уровнях, что прекрасно выразил Куайн: «Истинность любого утверждения можно сохранить, если произвести достаточно радикальные изменения других частей системы. Даже утверждение, очень близкое к (экспериментальной) периферии, можно поддерживать в качестве истинного, несмотря на противоречащие ему эксперименты, ссылаясь на галлюцинации или изменяя утверждения, имеющие статус логических законов. И наоборот, никакое утверждение не обладает иммунитетом против возможного пересмотра. Ревизия логического закона исключенного третьего была предложена в качестве средства упрощения квантовой механики; и есть ли принципиальная разница между этой ситуацией и тем, как Кеплер развил Птоломея, Эйнштейн Ньютона или Дарвин Аристотеля?»<sup>31</sup>.

Куайн, возможно, прав, утверждая, что все, за исключением наименее профессионально построенных теорий, способны успешно противостоять фальсификации по Нагелю-Попперу. Однако сам процесс «спасения» теории перед лицом противоречащих ей фактов с помощью изменения ее исходных понятий, аксиом, структуры доказательства и обоснования или области эмпирической верификации может настолько усложнить теорию, что делает ее уязвимой с точки зрения критерия простоты («бритва Оккама»). Лакатос обращает внимание как раз на этот момент, обосновывая тезис, что сдвиг исследовательских программ следует оценивать как дегенеративный, если изменения в «мягком ядре» понятий, гипотез и т. д. перевешивают то дополнительное эмпирическое содержание, ради которого эти изменения делались. В рамках своего собственного, непопперовского, подхода к фальсификации Лакатос настаивает, что «научная теория  $T$  фальсифицируема, если и только если предлагается взамен ее другая теория со следующими характеристиками: 1)  $T$  имеет избыточное эмпирическое содержание по сравнению с  $T$ , иначе говоря, она предсказывает новые факты, маловероятные или даже запрещенные в рамках теории  $T$ ; 2)  $T'$  объясняет предшествующий успех теории  $T$ , т. е. все неотбрасываемое содержание  $T$  включается (в пределах ошибок наблюдения) в содержание  $T'$ ; 3) по крайней мере часть избыточного содержания  $T'$  подтверждается»<sup>32</sup>.

Легко утверждать, что при прочих равных условиях той теории, чье эмпирическое содержание богаче, должно отдаваться предпочтение. Трудности возникают, когда все «прочие условия» действительно равны и сравниваются две теории, хотя

<sup>28</sup> См., Isaak A.C. Scope and Methods of Political Science.

<sup>29</sup> Nagel E., pp. 79-88

<sup>30</sup> Galtung J., p. 458

<sup>31</sup> Quine W.V. From a Logical Point of View, p.43

<sup>32</sup> Lakatos I., p. 166

с незначительно отличающимися онтологиями, понятийными схемами и областями эмпирической верификации: холизм предполагает, что такие теории несоизмеримы. Хотя подход Лакатоса полезен при выборе из конкурирующих теорий внутри одной парадигмы, он не объясняет, как разрешить спор нескольких хорошо построенных теорий, принадлежащих к различным парадигмам.

Очевидно, что процедуры подтверждения и фальсификации могут только уменьшить число кандидатов на обладание теоретическим статусом, и подтверждающиеся теории — а мы знаем из тезиса Куайна о недоопределенности, что такие теории всегда будут в наличии<sup>33</sup> — должны противостоять сильным конкурентам. Как же тогда относиться к тому, что одни теории возникают, другие исчезают, на третьи не обращают внимания? Что следует считать наиболее существенным с точки зрения куновской смены парадигм для социальных наук в целом и для политической науки в частности? Например, в случае советологии именно внетеоретические, а не внутритеоретические соображения оказываются решающими<sup>34</sup>. Наиболее важным для судьбы теории фактором является, вероятно, то, насколько она принимается или не принимается научным сообществом. «Теории, — пишет Чалмерс, — особенно интерпретационные схемы, проверяются в дискуссиях, а не в лабораториях или с помощью статистического анализа»<sup>35</sup>. Одним словом, популярность или непопулярность хороших теорий определяется ценностными ориентациями ученых, анализирующих их. Например, трудно объяснить огромный резонанс, вызванный теоретически уязвимой работой Т. Скок-пол «Государства и социальные революции», не принимая во внимание умелого использования автором понятия «государство» в то время, когда практически все политологи «были склонны избегать этого понятия»<sup>36</sup>.

Хотя опирающаяся на ценности процедура, подобная вышеописанной, имеет встроенные самозащитные механизмы — сплоченность научного общества, разделяющего определенные убеждения, его многочисленность и компетентность, — препятствующие легкому принятию или отказу от какого-либо модного понятия, она открывает ящик Пандоры с потенциальными, а нередко реальными опасностями. Не обязательно принимать концепцию культурной гегемонии А. Грамши, чтобы понять, что научный консенсус часто может крайне затруднять поиск истины. Если в качестве примера взять советологию, то как парадигма тоталитаризма в 50-х, так и более детальная разработка этой парадигмы в 70—80-е годы привели к тому, что советология многими перестала восприниматься в качестве серьезной области исследований, и препятствовали появлению альтернативных точек зрения. Последнее случилось не потому, что эти точки зрения в условиях идеологической гегемонии устранялись насильственно, а прежде всего потому, что подобная гегемония исключает определенные интеллектуальные подходы из сферы внимания как специалистов, так и общественности. Термин П. Бахраха и М. Баратца «не-решение» относится как раз к этой ситуации: поле возможного интеллектуального и политического поиска, которое *a priori* определяется как не заслуживающее интереса или ложное<sup>37</sup>.

Изложенная выше точка зрения предполагает, что смена теорий в социальных науках является, вероятно, следствием четырех причин. Первая связана с конфликтом поколений и временем нахождения на административных должностях в науке. Молодые ученые подвергают сомнению общепринятые истины, поскольку они молоды и поскольку принцип «опубликоваться или погибнуть» требует достаточного уровня оригинальности; их взгляды постепенно становятся общепринятыми по мере занятия ими влиятельных позиций в научном сообществе. В свою очередь, следующее поколение подвергает сомнению их гегемонию, происходит возврат к идеям предшествующего поколения, их переосмысление и т. д.<sup>38</sup>.

<sup>33</sup> Quine W. V. *Theories and Things*, pp. 24—30; Roth P. A., p. 7.

<sup>34</sup> Kuhn T. S. *The Structure of Scientific Revolutions*.

<sup>35</sup> Chalmers D. A., p. 51.

<sup>36</sup> Skocpol T. *States and Social Revolutions*. . . .

<sup>37</sup> Bachrach P., Baratz M. *Decisions and Nondecisions*.

<sup>38</sup> Cm. Meyer A. G. *Coming to Terms with the Past... And with One's Older Colleagues*.

Вторая, не менее важная причина состоит в том, что политическая, экономическая и социокультурная среда через посредство массовой информации прямо воздействует на представления ученых об актуальности, важности, полезности теорий. Марксизм, например, представлялся весьма плодотворным во время интенсивных групповых конфликтов, как это было в 60-е годы; плюралистические концепции оказывались лучше работающими в периоды социального мира, например в 50-е годы. Модернизаторский подход провалился в 60-е годы, когда демократии рушились в различных частях мира, и оказывается значительно более успешным в 80-е, когда переход к демократии наблюдается во многих странах, вступающих на путь быстрой модернизации.

Третья причина связана с безусловной важностью политических склонностей и предпочтений. Теории, ставящие неудобные вопросы и дающие неприятные ответы, нередко игнорируются, тогда как соответствующие политическим ожиданиям имеют гораздо больше шансов быть принятыми. Когда политический плюрализм является нормой в научном сообществе, такая тенденция не очень опасна. Она становится таковой только в случае, когда доминирует определенная идеология и конкретные теоретические подходы (как и их авторы) отвергаются только из-за несоответствия политической ситуации. Причины возникновения и существования идеологической гегемонии мы здесь не рассматриваем, но они, вероятно, связаны со сменой поколений, с изменением оценки значимости конкретных социальных явлений и — последнее, но отнюдь не по важности — с политической средой в целом, статусом академического сообщества и отношениями между ними, в частности.

Наконец, я рискну предположить, что наиболее влиятельными теориями чаще всего будут теории ведущих ученых. По аналогии с мыслью К. Маркса, что господствующими идеями являются идеи господствующего класса, мы можем ожидать, что взгляды, идеи и теории тех ученых, которые занимают господствующие или достаточно влиятельные позиции в научном сообществе и или в обществе в целом, будут чаще всего обладать большей респектабельностью и критиковаться весьма осторожно. И наоборот, теории менее влиятельных ученых будут открыты для критики (часто чрезмерной) со стороны коллег, защищающих свои академические позиции от возможных соперников.

Наш теоретический экскурс можно считать теперь завершенным. Добавим в заключение следующее. Советы политикам являются, по-видимому, достаточно безнадежным делом. Поскольку всякая истина является таковой лишь в рамках определенной теоретической схемы, практически неразрешима задача обеспечения политиков «объективным» анализом событий, которого они будто бы желают. На вопросы, каковы должны быть цели политики и какие задачи должны ставить перед собой государства, ответ может быть только относительным: очень многое зависит от исходных посылок и понятийного аппарата, используемых для нахождения такого ответа. Поэтому ученые не так уж много могут сказать политикам, если, конечно, эти ученые сами не хотят реализовать конкретную политическую программу. Все мы должны помнить, что теоретическое знание, политика и система ценностей находятся в неразрывной и весьма сложной связи, что неизбежно приводит и будет приводить к значительным разногласиям и острым дискуссиям. Такая ситуация является нормой в современном демократическом обществе.

<sup>39</sup> См., например, Н о u g h I. F. *Russia and the West*.